

Вставай,  
страна огромная!..

В старое воронежское село пришла ранняя апрельская Пасха.

По утрум еще схватывался на воде робкий ледок, но весна уже гнала, зримо наполняла воздух тальными запахами, гулками звуками, голубой эмалевой вышиной. Звонче сверлили воздух детские голоса, яростней кричали петухи. Солнечный ветер щедро осыпал веснушками детские носы и щеки. На замшелых лицах стариков проклюнулись и блудли беспричинные улыбки. Старые ивы вдоль речки зашевелились, зашелестели зеленым шелком. Мощным талым озоном задышало великое Черноземье.

В этот день в селе хоронили столетнего старика, бывшего колхозного бригадира. Мало кто знал его по имени, соседи звали его Дед, или дед Сержант. Да еще, кто постарше, помнили, что за двадцать лет после войны в бригаде бывшего сержанта не посадили ни одного колхозника.

Дед пережил трех жен, семерых детей. Двое живых, сын и дочка, редко бывали на родине, давно отвыкли от родичей, от отца... Последние годы Дед жил с внуком Митрофаном и невесткой Маней. Старик был не в тягость доброй и улыбочивой Мане. Он сам умывался, медленно, но своей рукой надевал портки, чистую рубашку, садился за стол. Любил поговорить.

— Митроня, что не хвалишься? Говорят, трактор новой марки получил?

— Получил, дедушка, немецкий. Дизель пятьсот сил, как у танка. Сто гектаров за смену пашет.

— Разбогател, значит, колхоз... Кто там сейчас хозяин?

— Газпром. Мы теперь богатые, дедушка...

— Да, цены богатые... Мы после войны на колесных по три гектара пахали, а хлеб дешевый был. Наверно, грамотные люди в Газпроме больше есть стали? Почему цены на хлеб растут, Митроня?

Дед горячился, в тусклых глазах появлялся настырный блеск, голос срывался на фальцет. Внук не робел перед гвардейским натиском бывшего бригадира. Он любил деда в эти минуты, но боялся излишнего возбуждения старика и с терпеливым сочувствием помалкивал, изредка поддакивая. Дед утомлялся, начинал зевать и злиться на себя за свой пафос, и в который раз клятвенно обещал:

— Все, больше выступать не буду! Я давно со своим колхозом лишний в этой жизни.

Дед подвигался ближе к окну, умолкал и часами глядел, как у старого коровника ребятишки на мотоциклах гоняли по глубокой силосной яме. Байкеры как с трамплина вылетали из ямы и зависали в воздухе под крики и визг больных. Мотоциклы шлепались оземь всеми потрохами и, вилляя и дымя, чудом выравнивали ход. Бывало, и не выравнивали... Тогда мотоциклисты долго кувьркались вместе с мотоциклами, но, слава Богу, до сих пор оставались целы.

Дед восхищенно стучал ладошкой по столу и с гордостью заключал:



Василий  
ВОРОНОВ

— Ваш Газпром супротив наших ребят — мешок с говном!

Дед не говорил о смерти, но все тусклее и короче становились его дни. Старик вслух перебирал давно позабытые имена, путался, звал внуку:

— Маняша, в нашем взводе гармонист был, сибиряк... Помнишь, как его звали? Не Иваном?

— Иваном, дедушка.

— Орел! Про священную войну в блиндаже под Сталинградом играл... Почти Шалапина наяривал!

Дед счастливо улыбался, пытался напевать далекую мелодию, слабо дирижировал ладонью. Он еще мог вспоминать, еще воображал себя в молодой забубенной и веселой жизни. А во сне столб явственно чувствовал долгий поцелуй влажных девичьих губ, что переставал дышать и опять звал внуку:

— Маняша... А где эта, толстоморденская? Как её... соседка наша?

Недавно за обедом дед решительно отодвинул миску и тихо произнес чужим голосом:

— На днях помирать буду. Пока в здравом уме, хочу попросить тебя, внучек...

Старик наклонился к Митрофану и стал что-то медленно говорить, переходя на шепот. Маня из деликатности вышла из комнаты.

— Можешь для меня? — робко спросил старик.

— Мору! — твердо сказал Митроня и обнял его маленькие худые плечи.

Деда хоронили, как хоронили всех сельских стариков. Просто: без слез, без речей. Без людской толпы, только соседи пришли постоять возле гроба.

Но все же необычные были.

Митроня подогнал к дому свой немецкий дизель с открытой полутележки. На нем поставили красным ситцем обшитый гроб, как на армейский

лафет. По узкому проулку до уличного асфальта трудно было проехать на машине. Дорога раскисла, разбитые колеи срывали полую водой. И пешком не пройти с гробом. А дизель с двухметровыми и широкими, как перины, колесами шел по проулку, как Гулливер среди лилипутов.

На главной улице остановились. Люди обчищали, обмывали в лужах сапоги, собираясь идти до кладбища. На асфальте стоял автобус, из которого резво выпрыгивали солдатики с духовыми инструментами. Через минуту медный оркестр в полной выкладке стоял за гробом, ожидая команды юного лейтенанта.

Процессия тронулась.

— Ба-а-мм!

Голосистая медь низкими нотами рванула в вышину. Люди вздрогнули, выпрямили спины. Мужики сняли шапки, и никто уже не опускал головы.

подавал одобрителные знаки дирижер. Нежно голосили трубы, гортанно чеканили тромбоны, мужественно рокотали басы.

Внук Митроня выполнил просьбу деда. В воронежском селе совершалось невиданное доселе: военный оркестр впервые исполнял на похоронах знаменитую мелодию Великой Отечественной войны:

*Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой!*

Можно было видеть воочию, как отзывались на музыку люди. От каждого двора, бросая праздничные застолья и домашние дела, к траурной процессии присоединялись по двое-трое, а с детьми и по пятеро. На полдороге за гробом шли уже человек двести.

Музыка длинным дыханием заполняла улицы и проулки. Мощным, гулким дыханием океана. Солнце вышло из-за туч и ярко вспыхнуло на тонкой

трудно выразить словами. Сельские люди не любят речей на похоронах. Речи говорят на тризне начальников.

*Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна...*

Было ощущение, что музыка исполняется впервые. Озноб дергал по коже, на скулах играли желваки. Решимость подступала к горлу, кровь стучала в висках. Твердыми губами люди шепотом подпевали:

*Идет война народная,  
Священная война...*

Солдатики старались держать строй, не делали лишних движений, оркестр жег мелодию, как на параде, на Красной площади. Казалось, что гроб с покойником, сотни земляков за гробом, весна и Пасха, солнце и радость Праздника гармонично соединились в кипящей музыке, соединились в одно чувство. Можно представить, как ощутили это чувство русские люди

Командир

Солдаты убрали арбузы на колхозной бахче, день был жаркий, воздух плавился, кругом голое рыжее поле. Ребята с черными от загара спинами часто ходили к шалашу, пили теплую воду, обливали стриженные головы, лениво переговаривались.

Сторож, худой горбатый старик в просторных штанах, босиком прохаживался с лопухиным щенком по степке, откидывая палкой из-под ног высокие плети и арбузные корки.

Третий день он молча приглядывался к солдатам. Приводил их усатый старшина, команды подавал скороговоркой, лихо распевав окончания. Сотня запяленных, провонявшихся от ваксы и пота сапог попласт на месте, поднимая пыль, замрет, а через минуту уже мелькают босые ноги и голые, блестящие от пота спины. А к концу дня, будто по команде того же усатого старшины, необъятное для глаз поле сплошь покрывается горками рябых арбузов. Пора домой. Два-три отрывистых слова — и нарасхват сапоги, гимнастерки, ремни застегиваются на ходу.

— Р-равня-а-йсь!

Словно ветерок пробежит по шеренгам — замерли подбородки.

— Смир-рна-а! Вольна-а! Расслабились, зашевелились.

Дед обычно подходил поближе и, опершись подбородком на палку, жадно глядел на ребят. Однажды не утерпел.

— Товарищ старшина, дай кокомандовать.

Старшина, предчувствуя хохму, улыбнулся, солдаты засмеялись.

— Ну что ж, кокомандуй.

Старик охил, глаза заблестели. Распрямился, насколько мог, отбросил палку, сложил сухие руки по швам, выкрикнул фальцетом:

— Слушай команду!

Солдаты, в том числе и старшина, несколько растерялись, видя, как посерьезнел старик.

А новый командир вперил глазами в строй и тем же фальцетом приказал:

— Напр-раву-у!

Строй послушно развернулся.

— Шагом мар-рш! Запевай!

Запылила дорога под сапогами, несмело взялась песня, но припев вышел уже стройнее, слаженнее.

*А для тебя, родная  
Есть почта полевая...*

Старик старался топать в такт песне. Щенок забежал вперед, подпрыгивал и весело лапал. Строй с песней обошел вокруг шалаша и остановился.

Дед опять сгорбился, поднял свою палку, вытер рукавом лоб и не мог скрыть счастливой улыбки.

— Наверное, командиром был? — весело спросил старшина.

— Был, сынок... был. Пехотной дивизией кокомандовал под Сталинградом...

Старик качался плечо и отвернулся. Старшина почтительно вздохнул, солдаты молчали. Через несколько минут прозвучала команда, опять дотопнула и поплыла строевая песня. А сторож все стоял, опершись на палку, и глядел на дорогу.

Станица Старочеркасская,  
Ростовская область



Михаил  
ТАРКОВСКИЙ

Чёрный бык

Из книги «42-ой, до востребования»

Резонанс

Длинными были городские зимы, плотными, и в памяти слёживались в пласт. Летние же месяцы богаче и ярче.

Начиная с предшкольного лета жили мы с бабушкой в Калужской области на Оке, в четырёх верстах от Тарусы вверх по течению. Деревня называлась Ладыжино, и первые два года мы снимали полдома у статной старухи по имени Василиса Давыдовна. Она носила фамилию Парашенко, была украинкой, хрипловато-зычно и напевно вещала в пространство, передвигаясь по участку, и я её побаивался.

Дом наш стоял на самом конце деревенской улицы, цепляющейся на Оку. За домом лежало поле пшеницы, а под ним внизу за основным перелезок текла в клубах ивняков Ока, домашняя и игрушечная узенькая. Тогда она казалась широкой и полноводной, а когда увидел её годы спустя, то глаза всё искали за зелёной ивняковой куполов главное русло, словно виднелась глыбе протока, а истинная Ока протекала где-то там, поодаль, в зелёной клубящейся дали.

Жили мы лицом в поле, которое начиналось сразу за забором. К середине лета за калиткой стояла ровная и слово каменная стена пшеницы. Крыльцо выходило в тень, его окружали липы и яблони, а малина была столь высоченной, что я бродил в ней, как по лесу, собирая огромные, еле держащиеся ягоды.

машину с воём елозила то взад, то вперёд. Кто-нибудь стоял рядом, крича: «Давай-давай!», шофёр то вылезал, то влезал, подкладывая доски, которые измочаливало до щетины, и в конце концов машина выезжала, а мы разочарованно и ословело расходились по домам.

Сдружил нас случай.

Мы играли на дальнем, высоком и сухом конце улицы, когда перед нами остановился газик с брезентовым верхом. В нём сидел в очках дянька агрономского вида. «Ребят, проеду на Выселки?» — махнул он в сторону нашего своротка. «Да, да! Проедете! Там отлично!» — вдруг заорали мы, не сговариваясь, — настолько опытный нас внезапный фарт. Возможно, если б один из нас открыл рот на секунду раньше, второй бы, глядяши, и не подхватил, но нас подвёл резонанс. Дянька сказал: «Спасибо, ребята!» и потарахтел к своротку.

Когда мы подбежали, он, открыв дверцу, сидел в увязшем до подножки газике. Мы подбежали, как ни в чём не бывало: «Что, застряли?». Дяньку я хорошо запомнил. Некоторым очки придают учёность, культурность, словом, некоторую беспомощность, которая в лесных и полевых условиях только усиливается. На лицах же, огрубелых от ветра и солнца, очки сидят особо. Толстые, затёртые, будто в подгорелой оправе, они придают лицу запредельную и даже грозную простецкость.

Дянька нам не сказал ничего. Чем больше он молчал и смотрел мимо нас, тем рынее мы пытались

помогать: какие-то палки тащили подкладывали, кричтели, лезли на глаза. Пытались буквально нанизаться на его взгляд. Даже кричали: «Газик он мочный!». Но он нас не видел. Ругнулся бы он или сплюнул, и то легче бы стало. Нет... Нагазовавшись, он сидел в кабине, пока не приехал трактор. А нас настолько подавило случившееся, что мы ещё долго ходили вместе по улице, словно порознь справиться с уроком были не в силах.

Календула

Васька был великим романтиком, помешанный на любовном. Именно от него я впервые услышал песню:

*А ну-ка, батька, запрягай-ка  
Лошадочку косматую.  
А я сяду и поеду  
Цыганочку сосватую.*

*А тятка лошадь запрягает,  
А мамка вожжи подаёт,  
А папка мамку поцалует,  
А мамка козырём пойдёт.*

Слово «косматую-у-у-у» он ткнул вверх особенно страстно и повода головой. Мне страшно нравился мотив этой загадочной песни, её забубенность и тоска, и я спросил у бабушки, что значит «сосватую». Бабушка ответила что-то раздражённое, вроде, «вырастешь — узнаешь».

Ваську отличали крайняя лиричность и ранняя завороченность женственностью. Последняя сочеталась со сквернословием, а тема была единственной: женщина и её нежные части. Клоп делился сокровенным нараспев, мечтательным полупётом, рассказывая историю, как он с красивой «девкой» пошёл гулять и на пути оказался sotto сена. Лирику иногда сменяли анекдоты, где действующими лицами также были некоторые человечьи запчасты. Те самые, о которых я в Солнечногорске с доверием поведаль Ироиче.

Я Васькин восторг не разделял, но слушал. Подмывало справиться у бабушки, насколько правда всё то, о чём докладывал Васёк, но что-то оставалось. Однажды я не удержался и спросил, что означает одно средней тяжести словечко, украденное из прежнего алфавита и безобразно ископшенное. Бабушка перевела его на детский язык, и стало стыдно — от обречённости в её голосе, оттого что объяснила, вместе того, чтобы отругать. Скучно зазвучал матюжок, обозначенный бабушкиной честностью.

При своей грубоватости, всех: «выбей нос», «не дохай», «шут с ним» и «наплеватель» бабушка до боли чуралась похабства.

Про скверные слова говорила, что они от татар. Слова эти были для неё преступлением так же, как и способность врать. Но честность стояла выше, поэтому, когда потребовался

перевод ругательства — перевела по-корно и скорбно, словно похоронила изначально светлую, но уже изгвазданную страничку нашей с ней жизни.

*«У Мишки заболело горло — перекупался. Заставила полоскать календулой. Вечером спросил, что значит слово ... Я пришла в ужас, но виду не показала. Сказала, что значения не знаю, но что это ужасно скверное слово — уверена. Теперь, не дай Бог, спросит кого-нибудь из ребят более сведущих — и найдут объяснение. Главный ужас в том, что этот глагол — основной во всей «уличной премудрости». Подумала: ещё слово существительное как-то можно объяснить. Едва подумала — он и спросил. Объяснила. Потом читали «Молитву» Лермонтова. Сказала, что, если ругнулся, а потом читаешь стихи — частички грязи остаются на языке и пачкают слово. Спросил: «А если календулой прополоскать?»».*

Чёрный бык

Просёлочная дорога, опушка, и обязательно сырая лесная глыба с высокими редкими травами и какими-нибудь мясистым и бледным цветком. Под полутёмным кровом флейтового низко и странно поёт таинственно-неизвестная птица, вступающая редко и открыто...

Полевая дорога. Пышная и нежная пыль, прибитая после дождя. Корка мокрая, копыньё — там сухая и тёплая глыба. Луки, как какао с молоком и бледной небесной добавкой.

К пыли я относился хорошо, бабушка же её терпеть не могла. «Пылища» состояла у неё в одном проклёпанном списке с микробами. Были у бабушки и другие страхи: коровы, гуси и змеи. Коров, казавшихся ей бодучими, обходила. Стадо надвигалось неотвратимо — гудким сопением, молочно-навозным чадом, смесью жаркого воздуха и паутов, колюче врезавшихся в лоб. Бабушкино лицо и так напряжённо устало, особенно подбиралось, подсыхало. «Смотри, вон та рыжая — нехорошая», — прищурясь, говорила бабушка на маслястую коровенку с разнотравными рогами. Один, точёный, с будто опалённым остриём, грозно целил вперёд. За стадом шёл пастух Андрей, ссохшийся и запёкшийся от солнца, похожий одновременно и на старика и на подростка. Был он в чём-то выгоревшем до пиловой серости, и в кепке. С плеча свисал и волочился длиннющий кнут, сходя в дорогу постепенно и словно сливаясь с ней. Раскатно и в нос Андрей взревает: «Но пошла-а-а-а-а!», а бабушка, повеселев, рассказывает сказку про Быка:

«— Для чего ты, старичок, нож точишь? — Да старуха велела тебя зарезать... — Не режь меня, лучше засмоли мне спину».

И я представляю, как быка смоят, как лодку, чтоб не сгнил, и удивляюсь, почему ему не больно — смола-то горячая...

Боялась бабушка и гусей, когда начинали шипеть и, наступая, тянуть шеи, будто под что-то подныривая. В гусиных шипении и шеях бабушке виделось змеиное. Я хорошо знал бабушкино прищуренное выражение и быстрый обходной шаг худыми ногами в коротких резиновых сапогах.

С дороги в чашу она сходила осторожно: боялась гадюк, хотя тех, кто их убивал, осуждала. Страхи эти и на меня пытались перейти, но я постепенно управлялся, хотя, чтобы взять в руки змею, и теперь сделаю усилие.

Дела тех дней шли самым неспешным чередом. Так, выдвинулся из ряда событий деревенский бык, порывший бок пастуху Андрею.

То, что жертвой стал именно пастух, было особенным святотатством. Помню, как бык этот прошёл мимо нашего дома, коротко и под нос роняя низкий, негромкий и леденящий рыко-хрип. Так кряхтит натужно пожилой мужик, получив удар сыгравшей доской или коряча груз.

Дом наш стоял на краю, а внизу лежало, как вытканное, поле с копнами. Но нему и нёсся бык спустя несколько минут. Чёрный, с пыльным отливом, он поддел копышку, и сено разлетелось веерно и пыльно. И радостно до озноба было, что бык далеко в поле, а ты за забором, а вот уже и за дверью. А потом перешло дело в грозу, да так естественно, будто оглушительный и грозный гром был продолжением этого буйного бычары, а веерный взрыв сена — предвестником предгрозового порыва ветра, пронёсшегося по полю. Поле казалось огромным и далёким, но этот веер сена я видел отчётливо, настолько страна детства оптика: несмотря на удалённость копышки, она была будто рядом, словно пространство гуляло, удаляя и приближая предметы по мере моей привороженности ими.

Грома я боялся, как и вообще громких звуков, и выходило, что сама молния не так заботила, как этот чужунный, сотрясающий небо раскат. Бабушка начала считать секунды меж молнией и громом, как вдруг оглушительный и одиночный удар с ясным треском шархнул точно над нами. Затрепетали молнии, будто нежданная бабочка-защитница зависла над нашим домом, в то время, как грозный кто-то в блестящей робе, шипя электродом, расшивал небесную арматуру. А бабушка всё считала секунды и всё указывала на увеличения разрывы, мол, видишь, проходит гроза. А в небе гигантскую мебель продолжали вращать, в то время, как с поля дождевая стена шла белёсым войском, и поглотивла, зашелестела, загрохотала по крыше обвалено, и ливень упрятал нас от быка, молний и грохота.

Потом так же умолкло, рассеянно отдробив по кровле, и я выскочил и увидел сияющую боковину неба, воронки от капель на дороге, и вслухший, в ребристую ёлочку, ручей, бегущий по колее. Главную силу он набрал именно по окончании ливня, и было что-то великодушное в том, что чем дальше бурля, тем сильнее взбужает поток. Грохотнул гром, уже далёкий, будто всё продолжающийся на меня ворчать, требовать какой-то душевной дани и, казалось, чем дальше небосклон, тем круче скат и тем податливей рухались ядра грома — как булыжаны с самосвального кузова.

Отмоклым ясным голосом запела кукушка. И по молоку меня послали с бидончиком в дом за оврагом, к тёте Варе. Молоко забрал, но скользь стояла такая, что я проехался и шмякнулся в сверкущую грязь-жижу... И бидончик грохнул, крышка отлетела, молоко разлилось и смешалось с карим следовым месивом. Упал я боком, вонзившись пятёрней в жирную толщу, в шёлковую кашу, в которой непременно острый обломый кирпича найдёт, и врежется в руку. До сих пор помню смесь грязи с молоком, дрызглый холод сандалий, и как ремешки растягиваются, когда сандаля засосёт. И грязь на штанишках, и на голых ногах, и мокрость там, где пропитало одежду и та липнет.

Я брёл к дому по зелёному гребню меж двух колей, внимательно глядя под ноги, чтоб опять не свалился. Вдруг буря вернулась: гулко и на голо-са зашумело впереди, будто в мехах и пазухах пространства очутился отставший ветрило. Я поднял голову: навстречу шёл чёрный бык. С губы свисала тягучая слюнина. В лучах солнца со шкуры летуче парила влага.

Из боковой калитки выскочила бабушка в телогрейке с хворостинной и предельно сощуренными глазами. Закидывая круговое худое ноги в коротких сапогах, она побежала быку наперерез. Я вжался в забор, и бык, не меняя шага, прошёл мимо, добавив к утрубному сопению низкий и хриплый рык, относящийся уже к бабушке, которая стояла меж мной и быком и шевелила губами.

Мы вернулись на наше крыльцо, откуда виднелось поле с копнами, освещёнными вечерним солнцем. В эту минуту деревенно-раскатно досыпался гром в огромный ларь за полем, и бабушка, придя в своё восхищённо-эпическое состояние и дрогнув голосом, сказала, что это Илья-Пророк на телеге прогromыхал по каменному-крепким облакам. И ещё что-то такое старинное и уходящее в громовую даль веков, что и меня самого потянуло туда могуче и ясно, и я дрызглыми ремешками сандалек ощутил эту спасительную глубину, и показалося — чем крепче вращу стопами в отчужденность, тем легче мне будет выплыть, свеситься в окошко нового дня. И не выплыть.